

Юлий Гуголев Мы — другой

Божия коровка,
чья на тебе кровка?

И того, и этого,
до костей раздетого,
ужасом объятото...

Я — того... нет, я — того,
черного и белого,
заживо горелого,
угольками бьющего,
немо вопиющего:

«улети на небо»,
чающего слепо
утоленья жажды.

Чья же ты? Ну чья ж ты?

Юлий Гуголев
Мы – другой (сборник)

«Новое издательство»

2011–2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Гуголев Ю.

Мы – другой (сборник) / Ю. Гуголев — «Новое издательство»,
2011–2018

ISBN 978-5-98379-232-6

Юлий Гуголев родился в 1964 году в Москве. Окончил медицинское училище и Литературный институт имени А.М. Горького. Автор поэтических книг «Полное. Собрание сочинений» (2000), «Командировочные предписания» (2006), «Естественный отбор» (2010). Стихи, собранные в настоящей книге, написаны в 2011–2018 годах.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-98379-232-6

© Гуголев Ю., 2011–2018
© Новое издательство, 2011–2018

Содержание

«...Потому что часы не равны...»	6
«Божия коровка...»	7
«В четверг позвали в Сахаровский центр...»	8
«Манная – на завтрак. Рыбный – на обед...»	12
«...Ну а потом все пойдут на салют...»	14
«Может быть, в апреле или в мае...»	15
«Мне б, как Раневская...»	17
Пионерская комната	19
Падежи	21
«Чем дольше живу я в России...»	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Юрий Гуголев

Мы – другой

© Новое издательство, 2019

* * *

«...Потому что часы не равны...»

*...Потому что часы не равны
представленью о времени, ибо
даже шелест летейской волны,
преднамеренно плещущей в глыбу
или в глину, иль в радужный свет,
всё же не в состояньи заполнить
поцелуем оставленный след.*

*Может быть, я сумею запомнить
над холодной поверхностью лба
эти руки, которые лепят
в час, когда заглушает труба
связных слов преднамеренный лепет.*

*Подчинясь роковому призыву,
все струится туда, к алтарю,
где бормочет огонь торопливо.
Может быть, я при нем рассмотрю...*

«Божия коровка...»

Божия коровка,
чья на тебе кровка?

И того, и этого,
до костей раздетого,
ужасом объятого...

Я – того... нет, я – того,
черного и белого,
заживо горелого,
угольками бьющего,
немо вопиющего:

«улети на небо»,
чающего слепо
утоленья жажды.

Чья же ты? Ну, чья ж ты?

«В четверг позвали в Сахаровский центр...»

1

В четверг позвали в Сахаровский центр
читать стихи в защиту палестинца.
На фото он понравился мне чем-то,
и я, ну, раз позвали, согласился.
А как тут не пойти, когда зовут?
Тем более, когда звонит Лавут.

Я ей в ответ: «Конечно... Ост не Вест...
(Каких невест?!) ...но стоит попытаться...
Поэтам надо выразить протест...
против чего?.. каких декапитаций?»
Тут выясняется, что парень наш, увы,
имеет шанс лишиться головы.

Он что-т'такое ляпнул про Коран,
Всевышнего и, заодно, Пророка.
Ему от ваххабитов разных стран —
кирдык взамен пожизненного срока.
(Прикинь, вот, ты прочтешь два-три стишка,
а в дверь Энтео – всё, секир-башка.)

Поэтому в четверг я прихожу
и обращаюсь к публике: «Ребята,
поэтам нужно выручить ходжу,
попавшего в застенки шариата.
А если не спасем того ходжи,
то сложно будет жить нам не по лжи».

И вот я заливаюсь соловьем,
мечу вам перлы и добытый радий,
но чувствую, что в черепе моем
обосновался, как б'т'ск'ать, Кондратий.
Буквально, разрывается башка.
А мне еще читать два-три стишка.

Короткие – еще туда-сюда,
И слушать, и читать не так чтоб тяжело.
Вначале – шутка, далее – еда,
А под конец, как водится, смертяшка.
Но невозможно доле шести строф
читать и слушать, если не здоров.

А тут уж явно – более шести,
ну, что ж я буду врать своим ребятам,
мне лучше бы заткнуться и сойти
со сцены, чтоб не встретиться с Кондратом,
пока он не хватил меня, пока...
Но, сука, не кончается строка!

Пусть жизнь еще не прожита на треть,
Для смерти нет ни молодых, ни старых.
Но в Сахаровском центре умереть —
вот это будет сразу всем подарок:
нашистам, правоверным, демшизе,
по-своему довольны будут все.

2

Н'вот взять хоть тех, чью пламенную речь
я грешным делом почитаю чушью:
вниманье человечества привлечь
пытаясь к психотронному оружию,
любой из них тому уж будет рад,
что «здесь и прецедент, и компромат.

Но, в сущности, особой нет беды.
Поэт погиб, зато как стало зримо,
откуда и куда ведут следы
сторонников кровавого режима.
Пускай же облучают нас враги.
Мы шапочки надвинем из фольги».

Как Голиаф – и камню, и праще,
нашист – делам кровавых рук Госдепа,
так удивился бы: «ну кажется, уж где бы!
но в Сахаровском центре, блин, ваше!
Совершенно распоясался Госдеп!
Америке держать его в узде б!

Но, в сущности, беды особой нет, —
нашист вздохнет и сплюнет просветленно, —
ведь ваш так называемый *поэт*
был плоть от плоти пятая колонна.
Рука Госдепа... Вашингтонский след...
Вопросы есть. Но возражений нет».

Возрадуются и того сильнее
отдельные сыны религий книги.

Друг друга за баранов и свиней
считая, тех, кто жидкие вериги
в себя залив, юродствует вотще,
они поубивали бы ваще.

Но и для них беды особой нет,
поскольку «сей приемьш филомелы —
как выкрест, богохульник, свиноед, —
заслуживал такой вот крайней меры.
Пульса де-нура... Страшный Суд... Джихад...»
Я ж говорю, что каждый будет рад.

Вы можете спросить: а в чем тут соль?
Как ни умри, все выглядишь нелепо.
Рука Всевышнего, Москвы или Госдепа...
Не все ль тебе равно? – А вот не все ль!
Тут я бы мог вам под конец стишка
напомнить анекдот про два мешка.

3

Но шутки в сторону... Больничный, гиперкриз,
трясина моего метаболизма...
Мы ж не за тем сегодня собрались.
Как здорово, что все мы собрались мы!
Но как там палестинец, дервиш, брат?
Едва не познакомил нас Кондрат...

Кто скажет, что чудес на свете нет,
ловя бессмертье социальной сетью?
Не вышка, а каких-то восемь лет,
а также восемьсот ударов плетью.
Под натиском поэтов, шариат
нашел паллиативный вариант.

Я не иду по дну. Я не солдат.
Я в будущее загляну едва ли.
Мне как-то проще с помощью цитат,
но мы не знали, правда, мы не знали:
кому, когда и сколько могут дать,
нам все-т'ки не дано предугадать.

За радость дикую – остаться с головой,
дышать и жить, и скрежетать зубами,
сходить с ума, переходить на вой —
кого благодарить ему? Нас с вами:
меня, Сваровского, Горалик и Лавут, —

всех тех, из-за кого его ебут.

Мне все-т'ки интересно, восемьсот
отсыпят сразу или порционно?
Он до скольких ударов доживет?
А сколько сможет вынести без стога?
В какой момент палач впадает в раж,
живое мясо превращая в фарш?

Ашраф Фаяд, Ашраф Фаяд, Ашраф...
Зачем я повторяю это имя?
С кем говорю я: с мертвыми? С живыми?
(А можно как-н'дь выговор?.. А штраф?)
Зачем они являются во снах?
Чтоб на разрыв аорты? Ну вас нах...

Любитель злочных мест, по воле сил
доставлен будучи, представ, и все такое,
кое о чем я б сразу попросил:
пожалуйста, оставьте нас в покое.
Пусть вечный бой покойным только снится.
Короче – я читал за палестинца.

«Манная – на завтрак. Рыбный – на обед...»

Манная – на завтрак. Рыбный – на обед.
Что-нибудь творожное – на полдник.
Тех, с кем это жевано, рядом больше нет.
Может, вам о чем оно напомнит.

Луч косо́й ложится на́ пол игровой.
Шторы цвета перезревших вишен.
Почему же в игровой раздается вой?
Отчего здесь детский смех не слышен?

Почему же плачет Митя Грамаков?
Отчего рыдает Вова Зинин?
Кто же, кто обидел этих игроков?
Кто в слезах младенческих повинен?

Кто дал Грамакову кулаком под дых
так, что разогнется он едва ли?
Девочек позвали вроде понятых.
Как им доказать, что «мы играли»?

Что там Вова Зинин снова завизжал?
Тот своей вины не отрицает,
кто отжал у Зинина синий, н-на, кинжал
и теперь трофеями бряцает.

Мама дорогая, видишь из окна,
что твой сын не прятался в сугробе,
и теперь Анфиса Владимировна
бьет его при всех по голой попе.

Смейтесь, Вова Зинин и Митя Грамаков!
Смейся с ними, Леша Харитдинов!
Будто вы не знаете, этот мир каков,
детства не прожив до середины.

Будто вы не помните: лето, прошлый год.
Догола всю группу раздевали.
Мы ж песком кидались. Помните? Ну вот.
Нас потом из шланга поливали.

У Анфис' Владимировны приговор суров:
те, в кого бросали, те, кто бросил, —
всем без разговоров мыться без трусов.
И рука тверда у тети Фроси.

Тетя Фрося в гневе: лучше уши мой,
оттираем локти и колени!
Моем, оттираем... Взгляд прикован мой
только к ней, к Налётовой Милене.

Так оно бывает в медленном кино:
капли останятся в полете,
в паутине радужной повисая, но...
Но боюсь, меня вы не поймете.

Но боюсь, и сам я уяснить не смог,
чем важны ма-га-новенья эти...
Никакой бородки мокрой между ног.
Только мерзко блеющие дети.

Вот же ты какая – первая любовь!
А потом пойдут одни измены!
Знаю, никогда мне не увидеть вновь
пирожок Налётовой Милены!

Вы ж все время думали, что я вам про еду.
Я и жил, во всем вам потакая.
Я ж не про еду. Я ж вам – про беду.
Ай, беда-беда-беда какая!

«...Ну а потом все пойдут на салют...»

...Ну а потом все пойдут на салют,
шеи набычат и бельма зальют,
сходятся стенка со стенкой —
Кутузовский с Верхней Студенкой.

Только салют этот не для меня.
Я рядом с папой трушу, семена.
– Все, никакого салюта, —
и улыбается люто.

Горе мне, если домой мы идем.
Мама ушла на дежурство в роддом.
Что за семейные драмы
зреют в отсутствие мамы!

Нужно заранее выстроить план:
или за кресло... или в чулан...
не избежать наказания...
неотвратимы касанья...

А вот подробности лучше замнем.
Скажем лишь только, что папа ремнем
так препояшет мне чресла,
что и не сесть в это кресло.

Это, конечно, плохой вариант.
Я все забыл. Только шкаф да сервант
помнят, что в них отражалось...
сколько оно продолжалось...

Я на него гляжу снизу вверх...
Он на меня косит сверху вниз...
Но нет... мы идем в кинотеатр «Пионер»!
Рассыпается свет... надрывается сквер...

это сразу за домом, где раньше был загс...
то ли плач, то ли смех...
то ли хрип, то ли свист...
Лезет в форточку худенький Оливер Твист.
Позади – бультерьер и Билл Сайкс.

«Может быть, в апреле или в мае...»

Может быть, в апреле или в мае,
не скажу точнее, но когда-то,
помню, в пионеры принимали
у могилы неизвестного солдата.

А потом все, шеями алея,
пионерия, сыны твои и дочери,
мы в награду в недра мавзолея
шли в обход километровой очереди.

Знали, гроб хрустальный там качается,
но покоится навеки сном объята
в том гробу не спящая красавица —
мирового вождь пролетарьята,

дедушка Ильич, кудрявый Вова!
Может, подмигнуть ему? А он нам?
Увидали мы всегда живого,
как он там лежит Тутанхамоном.

Вот, прикинь, привстанет он из гроба,
локтем оперевшись о подушки...
Помню, мне запомнились особо
желтенькие, сморщенные ушки.

Как я после хвастался родителям!
Как мечтою уносился в выси я!
Видел я его! А вы – не видели!
Может, у меня такая миссия!

Может, дед Наум, дед Шая-Шлёма,
дед его, и дед его, и дед его
по субботам ни ногой из дома...
– Ради этого? – А может, ради этого!

– То есть дед Наум, дед Шая-Шлёма
и его дед, и его дед, и его дед
по субботам ни ногой из дома
ради этого? – Ну, как-то так выходит.

Жили-были, убегали, ехали,
верили, что дети... что уж... где же нам...
Я теперь все это вижу в зеркале —
счастье, что еще не в занавешенном.

Жили, пели, умирали, плакали, —
время бно да и горе бно, —
птаха ли пером, частицей праха ли
рухнуть на бетон Бен-Гуриона.

Жили, умирали днем и ночью
те, кого неловко звать «мишпуха»,
чтобы я увидеть мог воочию
желтое, морщинистое ухо.

Вы меня простите, поколения.
Сам не знаю, что сюда пришел-то я.
Уши стали, вправду, как у Ленина,
маленькие, сморщенные, желтые.

Значит, ты – последний из последних.
Миссии другой по ходу нет.
Пионер, костей своих наследник.
Выключаем воду. Гасим свет.

Знаю, все когда-нибудь кончается,
как об этом в песенке поется,
желтый лист на веточке качается,
вьется, все никак не оторвется.

«Мне б, как Раневская...»

Мне б, как Раневская,
в жопу послать
вас, пионэры.
Ласковых несколько
слов вам сказать
из блогосферы.

Я б и с насмешкой что-то сказал,
и негодуя.
Но не могу я забыть, как стоял,
как Виннету, я

сам среди вас был, как Виннету,
сын Инчучуна.
Память вытряхиваю на свету,
всяко верчу, н-на.

С вами стоял там, воины-мужчины,
вождь, блин, апачей,
я – председатель совета дружины —
не хер собачий!

Там, за кустами, курили «ВТ»
из интереса
в пионерлагере ГэАБэТэ
и КаДээСа.

Пионерлагерь этот был от
Театра Большого,
стало быть, что в нем ни произойдет —
все будет шоу.

День Нептуна ли,
или же День памяти павших
вы б вспоминали
так же, как я, будь вы из наших.

Ветер то рвался к нам, то отлетал,
звуки развеяв.
В радиорубке там зажигал
дядь-Юра Матвеев.

Как наливались кровью бойцов
алые розы
сквозь «Miserege» строй голосов

и «Lacrimos'ы».

Как у вожатых и пацанов
капали слезы.
Клич «Miserere» – «всегда будь готов!» —
и «Lacrimos'ы».

Как обещалось
светлых годов
близится эра.
Сколько осталось?
Кто тут готов?
Что «Miserere»?

Пионерская комната

*Если про раковину —
то про раковину...*
(Из наставлений старшего товарища)

Ты знаешь, читатель, мудрец и дебил,
что главную в жизни карьеру
я сделал, когда пионером я был.
Но был я и не пионером.

Еще пионерским вожатым я был
у самого Черного моря
и сам источал соматический пыл,
мне пел Челентано «Аmore».

Ракушек не счесть на морском берегу,
но мы узнавали немногих.
Вот я и сейчас отличить не могу
двустворчатых от брюхоногих.

Сокровищ среди черноморского дна, —
кто видел, забудет едва ли, —
особо ценилась ракушка одна,
«гербом» ее все называли.

Я знаю, что «ракушка» можно сказать,
но мы говорили «ракушка».
И напоминала она, так сказать,
такое ребристое ушко.

Чуть менее счастлив был тот, кто обрел —
венерок средь и сердцевидок —
ракушку, что мы называли «орел»,
и ныне мне памятен вид их.

Пока пионеры во всю свою прыть,
чужую ракушку, прицелясь,
пытались своею ракушкой покрыть, —
такой пионерский Лас-Вегас, —

вожатый прикидывал, как в вечеру,
конкретнее – после отбоя,
ту деву с косою, совсем как сестру,
увлечь на прогулку с собою.

От комнаты взяв пионерской ключи,

от страсти тупея, как овощ,
ее пригласит он поехать в ночи
на остров любви и сокровищ.

Ведь там, в пионерской – сокровищница:
«гербов» и «орлов» – тыща триста,
во тьме чуть видны очертанья лица
и лозунг про «честь коммуниста».

Такой вот идеологический кич
и вечная память при этом:
прекраснейший Ленин Владимир Ильич
из ракушек там был портретом.

Вожатому пофиг гербы. И орлы
ценимы вожатыми мало.
Но там, в пионерской, стояли столы!
И даже кушетка стояла!

Когда-нибудь вспомню той комнаты пляж,
где море в ракушки играет,
а память из ракушки шепчет «Юляш...»,
а время их перетирает.

Плеча я касаюсь ладонью одной,
другая скользнула по талии...
И Ленин такой молодой,
и юный Октябрь, и так далее.

Падежи

Будь, как все, ученик языка,
ведь наука его легка
и экзамен его не сложный.

Ты коней пока придержи,
знай зубри себе падежи:

ИМЕНЯТЕЛЬНЫЙ,
ВЫРОДИТЕЛЬНЫЙ,
ПРЕДАТЕЛЬНЫЙ,
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ,
ВЫЧОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
и БРЕДЛОЖНЫЙ.

«Чем дольше живу я в России...»

Чем дольше живу я в России,
чем больше работаю с ней,
тем чую острее в разы я
и многое вижу ясней.

Чем дольше сижу я на Яме,
чем больше читаю LifeNews,
спокойнее тем и упрямей,
я сдержанней, блин, становлюсь.

С улыбкой спокойной и жуткой,
какая под стать мсье Верду,
«Омич изнасиловал утку»
я без содроганья прочту.

(Я не шелохнусь и подавно,
не всхлипну ни разу, узнав,
что в Дании, этой Гуантанамо,
растерзан безвинный жираф.

Едва ли мой пульс участится
в пандан кровожадной молве,
когда плоть жирафа, – частица
одна, – воссияет во льве,

очнется во льве, как во гробе,
чего-то там чем-то поправ...
Послушай, далёко, во львиной утробе
обглоданный *бродит* жираф...)

Глазами, выдавшими виды,
выдавшими Вия в 3D,
кошмары «Прямого эфира»,
смотрю, как буддист – варьете,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.